

*Градский
Александр*

Градский рассказывает анекдоты в лицах — так, что неважно, чем они закончатся, интересен при этом процесс, зрелище.

Мы с Кнышевым даже решили выпустить серию видеокассет под условным названием «Градский рассказывает». Думаем, что это будет хит сезона. Градский любит смотреть хорошие фильмы, следит за новинками. С удовольствием приправляя смачным ядреным словцом, обсуждает то, что видит на экране



Он не любит женщин с тонкими губами, так как считает и знает (по собственному опыту театрального грима), что карандашом для губ можно скорректировать даже полное их отсутствие. Дело не в природе, а в нежелании следить за собой.

Он вообще строгий. Иногда просто резкий в суждениях.

— Спрашивайте о чем хотите, все равно отвечать не буду.

— Почему?

— А я очень хитрохопый. Договариваемся так: вы написали и потом мне показываете. Я всегда всех предупреждаю об этом. Я так полагаю — давно уже писая, пиша? написывая сам, — сказанное...

— Есть ложь?

— Это первое. И второе: сказанное всегда слабится какой-то интонацией, написанное же мы читаем «без голоса», поэтому никогда не можем понять, правильно ли это передано. Кто только меня не пытал...

— Помню лет десять назад вы приезжали в «Собеседник», где я тогда работала.

— А что я там делал?

— Ну пели немного, что-то рассказывали...

— Да-да, помню. Только это было больше чем десять лет назад.

сами не дали четыре пенала. Так бы они наших и «завалили», если б в их ворота эти четыре пенала назначили?! Болгары, конечно, выглядят сейчас беспомощными, даже со своим Стоичковым... Они старые, они очень старые, а у нас помоложе команда, бегают лучше».

— Вы, я вижу, увлекаетесь футболом.

— Конечно.

— И играете?

— Играю. Играл, сейчас уже нет, не бегаю. Матчи по телевизору смотрю — простудиться боюсь. И потом здесь повторы делают...

— А к себе экранному как относитесь?

— Я себе не нравлюсь страшно, потому что мне надо худеть. Нет, по работе у меня претензий к себе почти что никаких нет. А вот чисто внешне, по форме: когда я беру себя в

никто никогда не делал или мало кто делал. Конечно, надо хвалить...

— Вы — человек весьма жестких, иногда резких суждений. Наверное, вы нередко обижаете людей. Скажите, вы извиняетесь, стараетесь не акцентировать на этом внимание или поступаете как-то иначе?

— Я стараюсь, во-первых, этого не делать. Но, конечно, бывают такие моменты, когда я кого-то обижу. Но я буквально в следующую секунду понимаю, что был не прав.

— А сами часто обижаетесь на своих друзей, знакомых, близких?

— Нет, я такого слова не знаю. Это женское определение. Например, настроение: у меня сегодня плохое настроение, у меня сегодня хорошее настроение — я вообще не понимаю, что это такое. Вот у меня болит нога...

— Значит, плохое настроение?

— Да нет никакого настроения! У меня просто болит нога. Мне больно. Перестала болеть — вот мне стало хорошо. Но это не настроение. То же самое обидя: я на тебя обиделся. Бред какой-то.

Благополучный человек

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ



— Возможно. Но тогда вы были подступнее, чем сейчас. И почти совсем не капризничали. Некоторые ваши друзья, с которыми мне приходилось беседовать, такую цензуру, кстати, не устанавливали...

— Что же касается моих друзей, то я неудачный персонаж: у меня почти нет друзей, вернее, очень мало, наперечет; и второе — я почти нигде не бываю. Я просто ленюсь, мне неохота, неинтересно. Я лучше книжки почитаю.

— Вы Обломов, судя по всему?

— Нет, я не Обломов. У меня не бывает, к сожалению, среднего состояния, промежуточного...

— Значит, вы человек крайностей?

— Либо я, как бес, ношусь, либо выпадаю и лежу без движений. Нормального состояния нет: или это экспрессия, или полная протрация...

— А кто, скажите, в юности повлиял на вас больше всего?

— Все сразу, все подряд. Открываю Стендаля — он влияет, открываю Чехова — он, Балзака — и он тоже...

— Какая-то патологическая всеядность?

— Вовсе нет. Просто если мне не нравилась книжка, то я ее сразу закрывал на третьей странице. Сейчас а, бывает, перечитываю Набокова, если перечитываю; прозу пушкинскую, Гоголя — из русских; западных гораздо меньше — неинтересно. Ни Элинджеров, ни Куртов Воннегутов: прочитал однажды Элинджера, понял, что он для прыщавых подростков и страстных левушек, — приятная вещь, но не более того...

— Обычно говорят, что времени свободного сейчас мало, жизнь такая суматошная, ничего не успеваем. А у вас свободного времени...

— Полно. У меня полно свободного времени...

— И чем же оно бывает заполнено?

— Да ничем. Я вот так лежу на диване и смотрю телевизор. Джон Леннон говорил: «Я смотрю телевизор, потому что я должен учиться, как мне делать не надо». Вот поэтому и я смотрю телевизор. И еще для того, чтобы в очередной раз сказать: «Ну, е-мое, до какой же степени, сколько же это еще будет продолжаться?!» И вижу — нет предела.

По телевизору идет футбольный матч Россия — Болгария. «Что, второй пенальти не дали? Потрясающе! Все еще недавно орало, что, мол, болгары русских «трахнули», а ведь

руки, выгляжу хорошо, иногда — хуже. Вот когда я выгляжу плохо, меня это раздражает. А потом, не хочется стареть...

— Да вы и так не меняетесь, в одном и том же возрасте, словно законсервировались.

— А другой человек и хочет удержать возраст — а ни хрена, у него лысына во-о-т такая. Я ничем себя не ограничиваю. Я выпиваю, но не пью. Кстати, меня Говорухин к виски приучил. Я раньше пил крепкие напитки эдакие, глотающие, которые разом надо принимать, а теперь такие, которые можно потягивать. Если я в баре где-то, то виски заказываю. Пиво же — это такой рокерско-музыкальный напиток...

— А горлу-то холодное пиво не вредно?

— Да нет. Я же сейчас не часто пою — раз в неделю от силы.

— От силы раз в месяц, а то и реже вы появляетесь и на телевидении. Помните, у Булгакова: «не думаете ли вы, что это управлялся с вами кто-то другой...» Вы словно отшельник, чужак на эстраде, вы словно специально отошли в сторону, чтобы на ваше место рванула посредственность... Дайте договорить!

— Вы ошибаетесь!.. (Перебивает и почти кричит.)

— Значит, вы не чужак?

— Чужак. Но мое место занято только мною, на него никто не может претендовать! Равно как и я не могу претендовать на место какого-то исполнителя, просто в разных местах эти места. И все. Потом, у меня довольно часто берут интервью, но редко показывают по ТВ. Это правда. Но когда-то мне мой знакомый сказал: «Старик, хорошо, что тебя мало показывают. Потому что если бы ты появлялся на экране столько же, сколько и я, то таких, как я, уже никто слушать

бы не стал. Так что правильно, что тебя мало показывают». Это за кружкой пива было сказано. Но я ему поверил. Марин, я ничего поделал с этим не могу. Практически за все, что они показывают, включая интервью, они берут деньги. Меня показывают, правда, без денег, но очень редко. Вот и все.

— А что сейчас — ради идеи, ради искусства, так сказать, никто и пальцем не пошевелит?

— Идеи могут быть, но, если они на материальной основе не замешены, если человек не знает, что в результате осуществления этой идеи он будет жить лучше, никакой идей сегодня невозможно заставить истинного профессионала работать. Шаромыжника какого-нибудь — это другое дело.

— Выходит, что деятели искусства, которые все чаще и чаще подлизывают и подпевают властям, демонстрируя перед выборами свое с ними единение, делают это исключительно за деньги?

— А они это делали всегда, эти деятели культуры. Они привыкли со сталинских времен этим заниматься, такая генетическая преемственность у них.

— А вам приходилось участвовать в подобном рода братании деятелей и власти?

— Что-то я такого не припомню. Предлагать предлагали. Я считаю, что я не имею права использовать свой музыкальный авторитет в каком-нибудь ином качестве, кроме музыкального. Иначе это какая-то нечестная игра. Сам я спокойно пошел и проголодался. У меня уже давно так сложилось: совет — это и есть моя идея.

— Хорошо, не будем об идеях — ее нет сейчас в чистом виде. Но ведь раньше существовало понятие карьеры — заслуженный, народный, следствие этого — почести, всеоб-

щая любовь, надбавки к пенсии, и это было довольно мощным стимулом для артистов.

— «Карьера» в творчестве всегда была одна — стать знаменитым. А регалии не имеют большого значения.

— Хорошо, если бы сейчас вам присвоили самое высокое звание...

— Ха, а мне и присвоили.

— Какое?

— Заслуженный деятель искусств. И то мне дали его, а не народного только потому, что звания имеют свою очередность. Через год, сказали, дадут и народного. Самое интересное, что я ничего для этого не делал, нигде не ходил, ни с кем не разговаривал — все равно дали.

— Чувство гордости-то хоть шевельнулось при вручении?

— Не-а, просто министр культуры поздравил... Поначалу как это было — Собинов или Обухова, Нежданова — звания тогда имели вес. А как только их стали давать за кроват, за вылизывание задницы — дискредитировали идею уже полностью.

— Но ведь ничего плохого в том, что человек ищет славы, нет.

— Тщеславие все равно сродни корыстолюбию.

Ах! (Опять телефон.) А ты знаешь, какая история обалденная с ними? Нет? Их тоже на заслуженного деятеля выдвинули. А дальше сказали: вы, мол, музыковеды, а теперь по положению музыковедам заслуженных не положено присуждать. Но, кстати, вместо этого можем дать вам орден — вы на орден не согласитесь? Они тогда: да, ... с тобой, давай хоть орден. И им дали орден Дружбы. Я ржал — не могу... Прямо какой-то торг. Хотя постоянно говорят, что торг здесь неуместен. Очень смешно. (Хохочет.)

Подожди. (Это мне. Опять кто-то звонит.) Ну ты хоть бы в одной комнате матрас-то оставил, что ж ты его на балкон-то утащил, б... Ну ладно, проехали. (Смеется.) Ты представляешь (это уже мне), три Алексея Белова, и все мои знакомцы, сейчас с двумя из них разговаривал одновременно. Тут Саша Монин заболел, бывший солист «Круиза», и делают такой концерт, чтобы денег

ему собрать на лечение. Ну, спеть надо — так споем.

— Саш, вот есть такое понятие — благополучный человек. Кто он такой, на ваш взгляд?

— Хорошее слово — благополучный... У меня, скажем так, достаточно удачно складывается внешняя атрибутика жизни: прекрасная жена, чудесные дети — мальчик и девочка, к зрелому возрасту я более или менее обзавелся деньгами... Что, конечно, считать благополучием? Другие, наверное, подразумевают под этим награды, власть... Я считаю, что музыка гораздо важнее любой власти. Власть проходила и преходяща, а музыка бессмертна. Никто не помнит, как звали того начальника, для которого Бах творил свою музыку... А вот Бах...

— Вы сказали про удачную атрибутику своей жизни. Удача — какая из них осталась в вашей памяти как самая яркая?

— Вот вы все журналисты такие, даже красивые, — все пытаетесь получить какую-то значимость... А я ее просто не замечаю. Знаете, меня даже строители мои недолюбливают за это...

— Поясните.

— Ну, кто-то из них сделает свою работу хорошо...

— Следует тогда человека похвалить, так?

— Наверное. Только я этого никогда не делаю. Я могу поругать за то, что сделано плохо, но никогда не хвалю ни себя, ни других...

— Вам что, слов жалко?

— Я всегда считал и считаю сейчас, что мы настолько все плохо работаем, что когда кто-то что-то делает нормально, то тут нечем гордиться — это просто та обязанность, которую мы уже забыли. «Вот видишь, как я хорошо выпилил эту деталь...» Да ты, пада, обязан ее хорошо выпиливать, это у тебя работа такая, ты за это деньги получаешь. А то у нас как подвиг преподносится: «Ты знаешь, а они пели живьем». «А как они должны были петь?» — спрашиваю. «Ну ты, старик, понимаешь же...»

— А вы работали под фонограмму когда-нибудь?

— Нет, никогда.

— Так, значит, вообще хвалить не надо?

— Нет, надо, но за что-то уникальное, невероятное, чего

Хоть вы и не любите этого слова — настроение, но иногда под это самое слово можно, наверное, дома, с удовольствием потирая руки и предвкушая успех у гостей, что-нибудь эдакое да приготовить, а?

— Ну разве что для гостей. Тогда вы правы, можно и это слово применить — настроение — и в том случае, если мне хочется очень хорошо их угостить. Горячие блюда — это мой конек. Меня Наталья Петровна Кончаловская научила — спасибо ей большое. Она мне показала несколько вариантов приготовления, а потом я уже сам это творчески переработал. Наталья Петровна вообще была для меня, как это сказать, старшим другом, что ли. Замечательная женщина, всегда ее вспоминаю.

— То, что вы хорошо готовите, я слышала. А что лучше всего получается?

— Большие толстые куски...

— Куски чего — мяса, рыбы?

— И то, и другое, но большие толстые куски. Тогда это имеет совсем другой вкус.

— Значит, вы не любитель посещать рестораны? Ведь там такого доброго куска осетрины или телятины, как дома, не подадут, это факт. Там порции, а не куски.

— Люблю рестораны, но только экзотической кухни: японские, китайские, мексиканские, иногда индонезийские. В Нью-Йорке когда бываю, мы с женой в такие рестораны ходим три-четыре раза в неделю. Там это недорого, и еда хорошая, а здесь и дорого неоправданно, и еда плохая.

— Вы, конечно, жуткий привереда, но что поделаешь — талант, ему все прощается. Скажите-ка напоследок, кто же этот талант когда-то рассмотрел? Кто понял, что у вас настоящий голос?

— Да я сам это и понял — в восемнадцать лет. Но мне мало было самому это понять, мне надо было еще попытаться кого-то в этом убедить...

— Разве такое не видно со стороны — не слышно, вернее?

— Не всем и не во всех случаях. Все-таки еще создается что-то вроде легенды, можно даже очень плохо петь, но все будут верить, что ты гений. Это как Паваротти — пожалуйста вам. Я слышу то, чего не слышно другим: что он иногда плохо поет. И если я это говорю, мне: «Ну вот опять ты, все тебе плохо».

— С вами, наверное, действительно очень трудно...

— А вы тогда и не спрашивайте моего мнения...

15.01.98

171